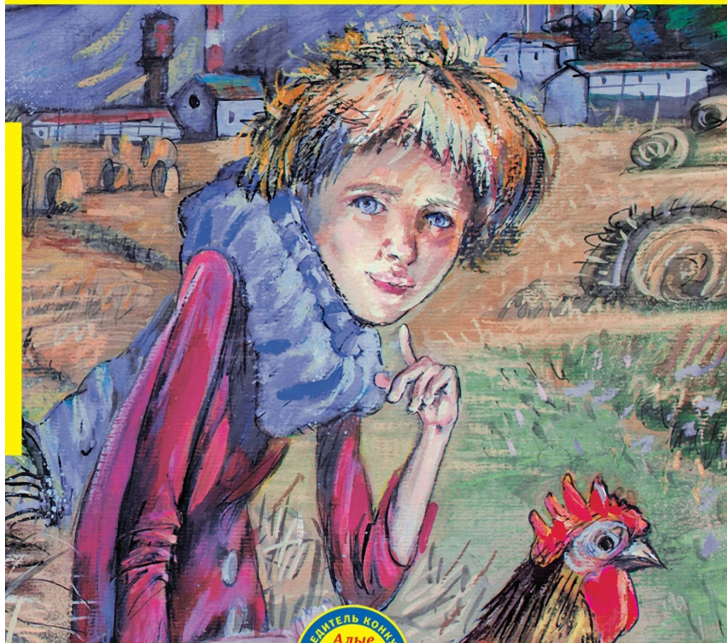


мариэтта чудакова

# дела и ужасы жени осинкиной

Завещание поручика Зайончковского



**Мариэтта Омаровна Чудакова**  
**Завещание поручика**  
**Зайончковского**  
Серия «Дела и ужасы  
Жени Осинкиной», книга 3

*Текст предоставлен правообладателем*  
*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=320812](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=320812)*  
*Завещание поручика Зайончковского: Время; Москва; 2010*  
*ISBN 978-5-9691-1077-9*

**Аннотация**

Эту неожиданную для себя и для читателей книгу написала Мариэтта Чудакова – знаменитый историк русской литературы XX века, известный в мире биограф и знаток творчества Михаила Булгакова. Увлекательное, остросюжетное повествование об опасных приключениях юной героини и ее верных друзей – Вани-опера, Тома Мэрфи, Скина, Фурсика и многих других – начинается в первом романе трилогии «Тайна гибели Анжелики», продолжается во втором – «Портрет неизвестной в белом» и заканчивается в третьем – «Завещание поручика Зайончковского».

Реальная Россия наших дней, реальный риск, реальные опасности, самое реальное злодейство и самые подлинные

самоотверженность, мужество и благородство – вот что привлекает к этим книгам и восьмилетних, и шестнадцатилетних читателей...

# Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Глава 1                           | 6  |
| Глава 2                           | 10 |
| Глава 3                           | 15 |
| Глава 4                           | 24 |
| Глава 5                           | 31 |
| Глава 6                           | 39 |
| Глава 7                           | 51 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 53 |

# Мариэтта Чудакова Завещание поручика Зайончковского

© Мариэтта Чудакова, 2010

© Вера Коротаева, иллюстрации, 2010

© «Время», 2010

\* \* \*

*Евгении Астафьевой  
с любовью, верой и надеждой*

# Глава 1

## В Приполярье



Мария Осинкина с трудом высвободила свои длинные ноги из носа трехместного «Салюта», клеенного-переклеенного.

Она была рулевым, а педали руля – в носу байдарки. Туда они с Сашей переместили их с середины лодки сразу, как только первый раз ее собрали. Потому что не мог, по их разумению, один и тот же человек быть и кормовым (он же загребной), и рулевым.

Сегодня был, пожалуй, рекорд – за световой день прошли километров пятьдесят пять, не меньше.

Как же затекли ноги! Пока неслись по реке шесть часов подряд, ничего не чувствовала, только жала педали – лево руля, право руля. А сейчас стала вылезать – да-а...

По глинистому скользкому откосу, норовя ступить на пучок вымокшей травы, а за другой на секунду ухватиться рукой, выбрались на поляну. Для ночной стоянки место с воды выбрали удачно – высоко, ровно, лесок близко. Срочно надо было стоянку обживать – развести костер, разогнать почти уже осеннюю промозглость. Поскорей, дотемна набрать хоть полведра подосиновиков для жарки, тем более что за ними по лесу ходить не приходилось: присядь на корточки и срежь красные шляпки в полуметре вокруг себя. Хоть полведра, хоть ведро, пока не стемнеет. Последние два дня они уже обнаглели – ножки вообще не срезали, одни шляпки. И варили, и жарили, даже пробовали солить. С картошечкой и лучком грибы шли хорошо – никто не жаловался, что надо-ели.

Но не видно было охотников браться за костер. Лениво перетаскивая по откосу вещи из байдарок, после многочасовой гребли все мечтали об одном – поскорей сесть на что-нибудь сухое и не вставать.

По примеру мужа, Маша, никого не созывая и не подгоняя («А ну-ка, не расслаживаться – все за дровами!»), быстрыми шагами двинулась в лес. Пошла собирать сухостой са-

мосильно.

Первый раз она была в байдарочном походе без мужа. Ей не хватало его – неизменного командира в каждом походе, с какой бы компанией они ни шли. Никогда никого не понукавшего, не покрикивавшего, но мягко направлявшего все в нужную сторону.

Дошла до опушки – и заиграл Вивальди ее мобильный. Она и знать не знала, что в этой глухомани вдруг обнаружилась сеть.

– Маша, Маша! – голос мужа звучал как-то необычно, требовательно и почти отчужденно. Ни одного нежного слова, с которых он всегда начинал разговор – даже в Москве, даже час или два спустя после выхода из дома. – Ты знаешь, что Женька сейчас в Сибири?

– Что-о-о?..

– Представь себе. Где-то на подходе к Горному Алтаю. Я с отцом говорил. Едет по Сибири на машине. С двумя...

Конец фразы звучал, уже никем не услышанный, в мобильнике, валяющемся в спутанной, пожухлой траве.

Дело в том, что на словах «едет по Сибири на машине» железная леди Мария Осинкина впервые в жизни завалилась в обморок. Когда она рухнула на опушке леса, то там, на берегу, не сразу даже поняли – чего это она?..

Очнулась Мария, вся залитая водой, под крики поливавших ее друзей:

– Маша, ну Маша же!



– Машенька!

– Мария, ты чего!!!

– Машка, ты что, а?

Перепуганные лица склонились над ней. Один уже стоял на коленях – довольно умело делал ей непрямой массаж сердца...

## Глава 2

# Жара в Евпатории

А предшествовал беседе Осинкина с женой, с такими для нее последствиями, его же разговор с матерью, а затем и с отцом. О разговоре с матерью читателю предыдущей нашей книги («Портрет неизвестной в белом») в общих чертах уже известно. Но мы восстановим его здесь – с некоторыми важными подробностями.

Так вот, ранним утром того же самого дня, накануне обморока Жениной мамы, часов в десять, когда крымская жара уже набрала силу, Анна Сергеевна Осинкина спускалась по ступеням обширной, с широким голубым куполом, церкви Св. Николая Угодника. Прямо перед ней, на той стороне небольшой площади, за длинным невысоким домом, красовались два высоченных стройных минарета. Купол мечети между ними удивительным образом повторял очертания церковного. Это была знаменитая Джума-мечеть, выстроенная в середине XVI века не менее знаменитым Девлет-Гирем, овладевшим в те годы Крымом. Анна Сергеевна помнила со школы, что в своих постоянных набегах на Россию этот крымский хан однажды дошел до Москвы – и сжег ее всю, побоявшись тронуть только Кремль...

С самой верхушки минарета (правда, теперь уже не вживе,

а посредством динамика) неслись заунывные крики муэдзина. Он призывал правоверных (ведь каждая религия считает свою веру единственно правильной – *правой* верой) к намазу. В тенистом, прохладном дворе мечети был кран с водой, под которым мужчины должны были умыться и помыть ноги и руки перед молитвой – и так пять раз в сутки.

По этому призыву часть местных жителей-татар сворачивала в ворота мечети.

А через несколько минут пение муэдзина сменялось колокольным перезвоном, несшимся от церкви. И тогда некоторые из курортников, двигавшихся по жарким улицам, и другая часть местных сворачивали в церковь.

Анна Сергеевна торопилась к морю. Она вынула из сумочки мобильник, выключенный на время церковной службы, включила его и снова положила в сумочку. И в ту же секунду раздался звонок.

Она услышала очень взволнованный голос сына и сразу же стала спрашивать его, как идет семинар. Но скажем прямо – Анна Сергеевна не столько интересовалась ходом семинара за тридевять земель от Евпатории, сколько тянула время. Потому что совершенно не знала, как начать говорить о том, о чем сын, она была уверена, сейчас ее спросит. И, конечно, тут же услышала этот самый вопрос.

– Мама, где Женя?

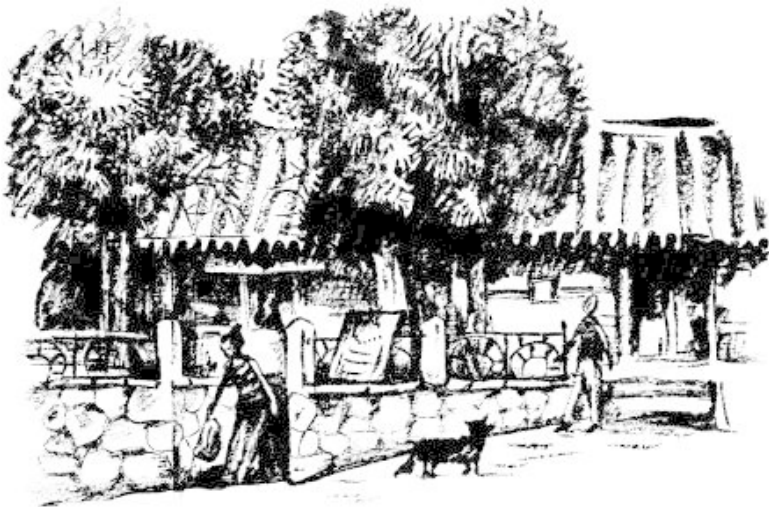
– Женя?.. – забормотала Анна Сергеевна.

Александр Осинкин, не расслышав, взволнованно про-

должал – в квартире никто не отвечает, Женин мобильный недоступен, и вообще – куда она вместе со своей тетей Верой подевалась?

Анна Сергеевна мялась, медлила, чувствовала, что тем сильнее пугает сына, и от этого еще больше терялась. Жара сгущалась, ей стало трудно дышать. Она никак не могла подобрать подходящих слов, чтобы сообщить ему о том, что она, увы, уже знала про свою отчаянную внучку от нее же самой. И от волнения начала выкладывать все подряд, почти не подбирая более аккуратных слов:

– Женя тебе звонила... Но почему-то никак не могла связаться. А со мной связалась только утром. Все у нее в порядке... Она в Сибири... Едет на машине. Сейчас как раз выехала из Омска по направлению к Горному Алтаю, там у нее, видишь ли, важное дело...



Голос сына в мобильном поменялся.

Александр Осинкин оказался покрепче своей жены. В обморок он не грохнулся, зато сразу понял, что у матери неладно с головой.

И заговорил с ней как с больной – медленно, отдельно и ласково.

– Ма-моч-ка! Ты меня слышишь? Это я, твой сын Саша. Я сейчас в Мексике, на семинаре. Я спрашиваю тебя про Женю, понимаешь? Про Женю – дочку мою! Девочка такая, ей тринадцать лет всего... Она не может ехать одна по Сибири, ты что-то спутала, мамочка! Она в Москве, со своей тетей Верой! Что, в Евпатории, наверно, очень жарко, мама? Гра-

дусов сорок, наверно? Как у тебя с давлением, мамочка? У меня сейчас семинар начинается, я вечером папе позвоню, хорошо?

Мобильник отключился. Анна Сергеевна растерянно сжимала его в руке.

## Глава 3

### Юбилей

Поручик Зайончковский сидел перед столом, накрытым ослепительно белой скатертью, в своей огромной гостиной, среди портретов в тяжелых рамах, глядящих со стен, и плакал.

Его ровесники – их было четверо – смотрели на него понимающе-сочувственно. Они слишком хорошо знали, о чем он думает в этот момент – вспоминает памятные также и двум из них годы, когда он и был поручиком, в заломленной на особый лад фуражке. Двоих других в этом кругу называли *харбинскими русскими*. Они родились в начале XX века в Китае – в Харбине, тогда совсем русском городе, – и никогда не бывали в России. Но чувства хозяина дома и они понимали.

Молодые люди, сидевшие за тем же столом, тихо, не нарушая порядка, переговаривались между собой по-английски. Подростки на большой веранде были поглощены друг другом. Совсем маленькие, как принято в Америке, чувствовали себя свободней всех – ползали по полу под ногами у взрослых, самозабвенно катались по мохнатому ковру или тихо сидели на нем, глубокомысленно засунув в рот большой палец.

Седая, аккуратно подстриженная женщина ходила молча, с улыбкой, от гостя к гостю, подливая сок в бокалы и ликер в рюмочки.

Дом был выстроен по собственному проекту Зайончковского. Главное было – выбрать землю. Он хотел строить высоко, как в его стране стоят монастыри. Дом был двухэтажный, с картинами и книгами по стенам, как в их усадьбе.

– Туроверова! – раздался голос из-за его спины.

– Петр Андреич, почитайте Туроверова! – поддержали другие голоса.

Вообще-то это чтение стало, пожалуй, ритуальным. Но ведь и в ритуале трудно отделить живое чувство от привычки.





Он откинулся на высокую спинку, секунду подумал и тяжело встал. И оказался все еще статным мужчиной. За минувшие годы, износив немало штатских костюмов, не потерял выправки.

В нынешнем 1983 году минуло этих годков с того дня, когда он не по своей воле покинул Россию, ни много ни мало – шестьдесят три.

Сегодня господин Зайончковский – впрочем, таковым он был лишь для того круга, где говорили по-русски, – отмечал 80-летие. Во всей Калифорнии и за ее пределами он давно был *мистер Зайтч*. Ему не очень нравилось, что получилось

слегка на немецкий лад.

Он готовился читать. Волнуясь, вытирал насухо слезы.

Зайончковский слышал эти стихи в годы войны. Нет, не Первой мировой, неизвестно какой силой превращенной на его родине в окаянную братоубийственную. Это ее гигантская волна, взметнувшись, выкинула поручика из отечества, разлучив навсегда с близкими. Стихи он слышал уже в годы Второй мировой. Тогда с волнением следил – пустят ли русские люди немца на левый берег Волги у Царицына? Нужды нет, что Царицын носил уже мерзкое имя – «Сталинград»... За какие такие заслуги?! Что хорошего сделал Сталин для города Царицына?.. Но Петр Зайончковский знал, что вечно носить город это имя не будет – как и Ленинград.

Со Сталинградом так и вышло. Хотя Царицын уже около двух десятилетий как застрял на странном имени «Волгоград», но это все же лучше, чем носить имя убийцы миллионов своих сограждан. По его приказу их безвинно расстреливали, убивали колымским пятидесятиградусным морозом в предвоенные годы. А потери в войну? Не Сталин ли оказался настолько не готов к войне, что в первые месяцы Гитлер шел по русской земле с такой убийственной скоростью? Наши самолеты не успели подняться в воздух – их бомбили на земле. А миллионы русских солдат оказались в плену...

Про Ленинград же, ставший таковым в честь умершего в 1924 году Ульянова-Ленина, Петр Андреевич не уставал повторять: «Я не доживу, но попомните мое слово: этот город

снова будет Санкт-Петербургом!»

Кстати сказать, отец Зайончковского знал отца этого человека – инспектора народных училищ в Симбирске Илью Николаевича Ульянова. Зайончковский-старший говорил: «Представь себе – вполне приличный был господин!»

...И вот – сорок лет прошло с тех военных дней. Но никогда за все минувшие годы не мог Петр Андреевич без волнения – и даже, признаться, без слез – прочитывать эти стихи. С автором их, своим ровесником, вместе воевал в начале Второй мировой в Африке, в Иностранном легионе. Когда читал, так все вставало в памяти – 1920 год, Крым, последний пароход... Общая их горькая юность. Что же может быть горше, чем насильно, на заре юных лет, как поется в народной песне, покидать родину и родных?

Откашлявшись, Петр Зайончковский начал, слегка опираясь кончиками длинных пальцев на стол и держась прямо:

Уходили мы из Крыма  
Среди дыма и огня,  
Я с кормы все мимо, мимо  
В своего стрелял коня.

Голос читавшего прерывался. Все почтительно молчали. Только залиvisto смеялся разлегшийся на ковре, раскинув руки, двухлетний розовощекий и пухленький Кузьма. Над ним склонилась юная мать, тихо его увещевая.

Явственно, как даже и не бывает, услышал Петр Андреевич вдруг прощальное ржанье Красавчика, последнего своего коня в России. И с усилием продолжил:

А он плыл, изнемогая,  
За высокою кормой,  
Все не веря, все не зная,  
Что прощается со мной.  
Сколько раз одной могилы  
Ожидали мы в бою.  
Конь все плыл, теряя силы,  
Веря в преданность мою.  
Мой денщик стрелял не мимо,  
Покраснела вдруг вода...  
Уходящий берег Крыма  
Я запомнил навсегда...

Раздался дружный аплодисмент. Зайончковский сел, вытирая лоб.

Только Кузьма опять смеялся, захлебываясь от беспричинной – как казалось взрослым – радости.

Постепенно возвратились к общему разговору.

– Так и не получали каких-нибудь сведений о родных, Петр Андреевич?

– Нет. Я ничего не знал и не знаю о них. Переписываться – значило подвергать их смертельной опасности. Я не мог даже

помыслить о том, чтобы из-за меня пострадала моя обожаемая мать. Ее, конечно, давно нет на свете. Но кто-то остался от нашей семьи. Точнее сказать – я уверен, что наша семья дала новые побеги на родной почве.

Зайончковский замолчал. Нетрудно было понять, что остановило его речь, – мысль о том, что ему самому на чужой почве так и не удалось продолжить свой род. Сам он однажды сказал близкому другу, что не считает это случайностью.

Помолчав, Зайончковский продолжил:

– Сталина давно нет, но советская власть и сегодня не щадит своих подданных. Я не смею их искать. Но верю, что они – кто уцелел – узнают обо мне и помянут добрым словом. После меня. Я позаботился об этом – как смог.

С террасы уже слышался тихий гитарный перебор и доносились звуки романса, без которого не проходила ни одна party, или, говоря по-русски, званый вечер в гостеприимном доме Зайончковского:

Белой акации гроздья душистые...

Надо отдать должное молодому поколению – этот романс знали и они и всегда могли пропеть не соврав, не запнувшись.

Но тут высокий тенор Бориса Климовича, внука старого друга Зайончковского, завел что-то новое, что Петр Андреевич слышал первый раз. Эту песню, кажется, тайком – по-

тому что текст, конечно, не был напечатан в советских изданиях, то есть – не цензурован, и потому никто по тамошним законам не вправе был его читать!.. – привезли из Советской России. Говорили, что написал ее поэт Александр Тимофеевский. И от этих не слышанных прежде звуков сразу защемило что-то в груди – и не отпускало до конца пения.

Эти сосны в снегу  
И дубы вековые,  
Этот зыбкий закат  
И холодный рассвет...  
Все, что вижу вокруг,  
Что зовется Россия,  
Ты ее полюбил,  
А она тебя – нет.

Вот уже и Глинка достал потихоньку платок, готовится промокнуть увлажнившиеся глаза. А тенор берет все выше, и гитарные струны рвут душу.

Трупный запах войны,  
Ад теплушек солдатских,  
Скорбный список утрат  
И болезней, и бед...  
Все мне шепчет вокруг,  
Что пора нам расстаться –

Ты ее полюбил,  
А она тебя – нет.

...Вот уже и поручика Потаржинского в растерзанном френче тащат солдаты из офицерского купе... Где это было?.. Под Тамбовом?.. Во всяком случае, осенью 17-го...

А «харбинский русский» Ильин вспоминает не 17-й, а 1935-й. Как уговаривал он своего друга, умнейшего человека Николая Васильевича Устрялова, не возвращаться в сталинскую Россию... Не уговорил. Года два приходили от него весточки. Даже преподавал где-то профессор. А потом – как в воду канул. Позже дошли известия – замучен, «признался» под пытками, что он – японский шпион, расстрелян.

Гитарный перебор. И молодые слушают так серьезно. Что за мысли в их красиво, но не по-офицерски стриженных головах?

Непонятно за что  
Мы так любим Россию,  
Все мечтаем увидеть  
В окошечке свет.  
Жду хороших вестей,  
А приходят плохие –  
Я Россию люблю,  
А она меня – нет.

## Глава 4

### «А она меня – нет...»

В том самом 1983 году и в те же самые часы, когда поручик Зайончковский за два океана от России праздновал свой юбилей, а его молодые гости пели этот недавний романс, в словах которого читалась тоска их отцов и дедов, – там, где на другом берегу огромного Тихого океана раскинулась недостижимая для них страна, в снегах города Ухты автономной республики Коми, расположенной на севере европейской части России, недалеко от Урала, сидела за столом при свете настольной лампы учительница английского языка Вера Вылегжанина. Она писала письмо в город Калугу, где в этот час адресат ее сидел за столом в своей каморке – сарае, превращенном им в маленькую комнату, – в глубокой тоске.

«Дорогой Горгич! – писала она. – Поняла, что первое письмо к тебе не попало. Почти убеждена, что и это письмо перехватит какая-нибудь штатная сволочь. Мне даже не легче, что сволочь эта узнает, что я смотрю на ее способ зарабатывать на хлеб как на бездонное падение. Не легче оттого, что ты можешь не прочесть нескольких слов, которые тебе могут быть нужны. В любом случае мои дружеские чувства к тебе не поколеблются и, разумеется, будут выражаться и в



слове и в деле...»<sup>1</sup>

«Горгич» – это был Георгий Георгиевич Демидов. Так называл его семилетний мальчик-сосед, который не мог полностью выговорить его имя и отчество. И за ним стали так называть Демидова все ссыльные. А потом и так называемые вольные. Воля их – после многих лет сталинских лагерей и ссылки – оказалась очень условной: въезд в крупные города и тем более проживание там им были запрещены. Только в такие, как Калуга, Тверь, Ухта, Инта...

А жизнь Георгия Демидова сложилась – по чужой воле – так: сорок пять лет назад, в 1938 году, двадцатидевятилетний доцент Харьковского электротехнического института, физик и инженер с чертами гениальности, был арестован. И получил безо всякой вины, как и миллионы других граждан его страны, срок – восемь лет сталинских лагерей. Провел он их в самом тяжелом месте всего Гулага, то есть великого множества сталинских концлагерей, а именно – на Колыме. Морозы на тамошних приисках достигали 50 – 60 градусов. А люди, провалившиеся во время работы под лед, не имели возможности, как опишет Демидов много позже в одном из своих рассказов, обсушиться. И шли наутро на работу в мокрой одежде – то есть на верную гибель от воспаления легких.

---

<sup>1</sup> Фрагмент подлинного письма бесстрашного автора, рисковавшего тем, что перлюстрация письма – то есть чтение его теми, кому оно вовсе не адресовано, – могла принести крупные неприятности. Сохранено и подлинное ее имя, и реальная история выдающегося русского писателя Г. Демидова. Его сочинения вошли в нашу жизнь совсем недавно – через много лет после его смерти.

На Колыме часто перегорали лампочки, а доставляли их с материка не скоро и не во всякую погоду. И за два года до конца срока инженер Демидов стал изобретать заново лампочку – и запустил в тех немыслимых условиях электроламповое производство. Ему обещали за это досрочное освобождение. Но обманули. Начальники получили за его изобретение ордена и премии, а ему вместо освобождения вручили присланный в порядке помощи нашими союзниками костюм. Тогда он швырнул его прямо в президиум торжественного собрания со словами «Я чужие обноски не ношу!». За что и получил к оставшимся двум годам еще десять лет тех же страшных лагерей. Припомнили ему еще и то, что советский лагерь на Колыме он назвал – в кругу зэков – «Освенцимом без печей», и кто-то «стукнул» на него.

За три года до того вечера, когда Вера Вылегжанина писала Георгию Демидову письмо, а именно летом 1980 года, в его жизнь снова вмешался всесильный Комитет государственной безопасности. Его тогда все между собой называли сокращенно Кагэбэ, а его сотрудников, то есть охотников на людей, кагэбэшниками. Ну конечно, когда мы говорим – «все», то это не считая тех, кто их охоте за чужими мыслями и жизнями сочувствовал. И еще – не считая тех, у кого там работал отец или родственники. Как в их семьях называли это заведение, мы сказать не беремся.

У Демидова дома провели обыск и забрали рукописи всех его замечательных сочинений. Все-все, что им было напи-

сано за два десятилетия «воли» – вечерами после работы и ночами. Сотни страниц, описывающие то, что он испытал и увидел на колымской каторге.

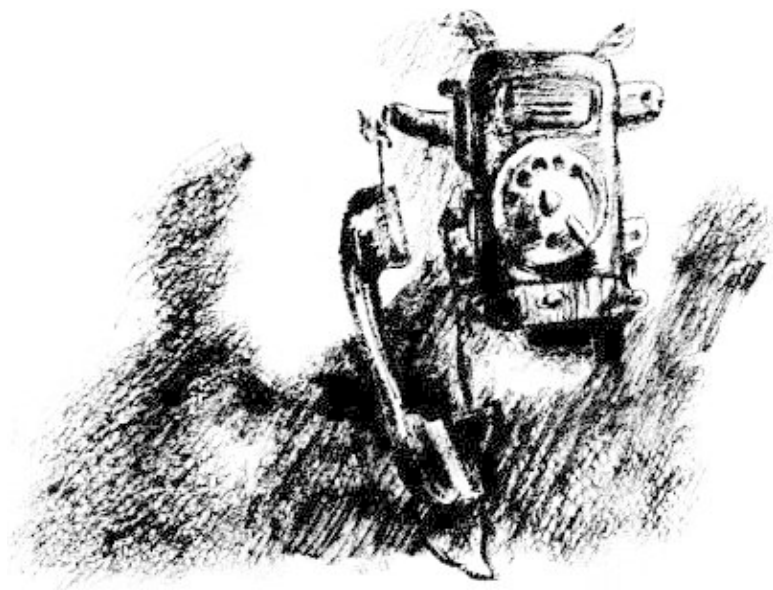
Опытный зэк хорошо знал привычки родной власти. И потому хранил копии своих сочинений в разных городах – по три переплетенных машинописных тома в каждом городе! Это не помогло. Обыски прошли одновременно в пяти российских городах у пяти друзей Демидова. Донесла ли об этих адресах какая-то «штатная сволочь», о которой и писала Демидову бесстрашная Вера Вылегжанина (то есть платный осведомитель, который втирается в доверие к людям, бывает у них дома и тайно пишет на них регулярные доносы в КГБ), или Комитет установил в комнате Демидова «прослушку» и подслушал его разговоры с друзьями, – это мы узнаем не скоро. КГБ в России давно уже не существует, однако тайн своих по-прежнему не выдает.

Демидов был уверен, что почти двадцатилетняя его литературная работа пропала навсегда. Он сказал своей дочери: «Третий раз начинать жить с нуля я уже не смогу». И до смерти больше не писал.

Он умер в 1987 году, на четыре года раньше Петра Зайончковского. Уже начиналась перестройка, распадались ветхие одежды советской власти. И тех, кто еще недавно уверен был в вечном своем владычестве над жизнями, душами и творчеством людей, вынудили вернуть дочери Георгия Демидова архив умершего отца. Прошло еще двадцать лет, на-

печатали его сочинения. В русскую литературу с непоправимым опозданием пришел писатель большого таланта.

Георгий Демидов был моложе Петра Зайончковского на десять лет. Он не знал его, как и бывший поручик понятия не имел о своем младшем соотечественнике.



А могло сложиться совсем-совсем иначе.

Россия могла стать великой страной, бережно относящейся к тем, кто и составляет ее величие, кем она может гордиться. Да и вообще ко всем, кто считает ее своей родиной.

И тогда поручик точно знал бы, как и все другие сограждане, о гениальном инженере Демидове, гордости отечественной технологии. И инженер Демидов мог быть наслышан о знатоке военного дела, к тому времени наверняка бы уже полковнике, а то и генерале Зайончковском. Нет сомнений, что это были бы славные в России имена.

Но история России пошла в XX веке по иному, трагическому пути. Он завел ее в исторический тупик – на долгие десятилетия. Но это слишком большой разговор, а мы сейчас – только о двух этих людях.

Восемнадцатилетнего поручика Зайончковского выгнали с родной земли – навсегда. Имя его исчезло для ее граждан. А тридцатилетнего инженера Демидова отправили на Колыму, украв у него восемнадцать самых творческих молодых лет – вместе с именем.

Потому что имя его, как и имена всех других советских заключенных, среди которых немало было талантливых, работающих, высоконравственных людей, заменили номером, нашитым спереди и сзади на верхней одежде – спецовке или бушлате. И окликали его начальники и охранники не по имени и не по фамилии. А только по номеру: Д 357!

Но в тот самый час, когда в доме Зайончковского молодой голос пел «...Я Россию люблю, а она меня – нет...», два сына России, находившиеся на разных концах земли и прожившие совсем разную жизнь, думали об одном и том же – о судьбе своего несчастного отечества.

И потому их горестные размышления об этой судьбе, распространяясь невидимыми и никем еще не уловленными волнами высоко над поверхностью земли, в разреженных слоях атмосферы, со скоростью, само собой разумеется, мысли, полетели навстречу друг другу. И встретились где-то над самой серединой Тихого океана. И оба эти человека почувствовали в тот миг нечто, что пока еще не поддается ни точному познанию средствами науки, ни даже описанию словами.

А если все же попытаться описать – больше всего это их ощущение напоминало, по-видимому, вот что: когда плывешь на большом катере по океанскому заливу, и вдруг длинная-длинная волна, придя из туманной дали Великого Океана, поднимет суденышко на своем гребне – да так, что мощное его дыхание обдаст все твоё существо. И плавно опустит...

## **Глава 5**

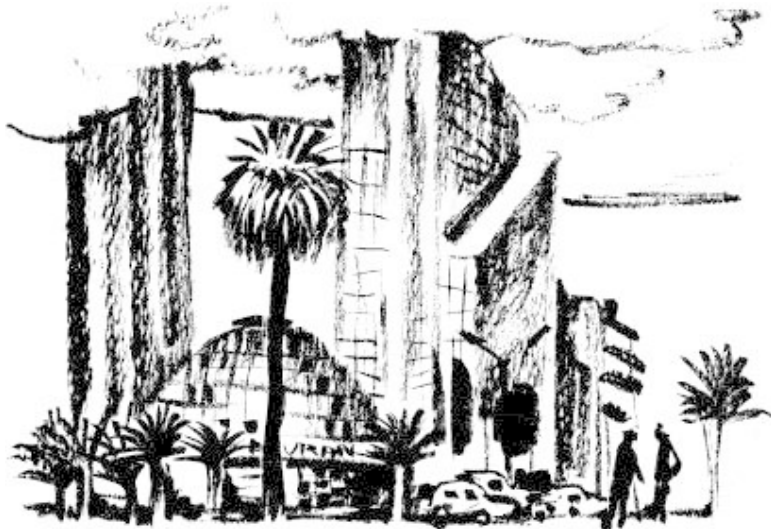
### **Американское наследство**

Мексиканское августовское солнце пекло нещадно, загоняя в дом, под прохладный ветер кондиционеров.

Перед началом семинара к Осинкину подошел Флауэрс, коллега из Чикаго.

– Мистер Осинкин, я хотел бы поговорить с вами – на вне-научные темы. Когда мы могли бы это сделать?

– Да хоть в первый же перерыв! Я, пожалуй, обойдусь без кофе. Столько чашек в день, знаете ли, сколько мы выпиваем здесь на этих брейках, – это все же многовато для меня...



– Совершенно с вами согласен, мистер Осинкин!

– Я думаю, мы сумеем найти клочок тени.

И в полдень они уже сидели на краю одного из бассейнов, среди буйно цветущих розовых олеандров.

– Мистер Осинкин, говорит ли вам что-либо фамилия – Зайончковский?

– Разумеется!

И Александр стал рассказывать – готовно и обстоятельно.

– Это был замечательный, по-видимому, человек. Юношей он воевал в Добровольческой армии. Заканчивал трагическую эпопею Белой армии в Крыму, по семейной леген-



де – с одним из младших братьев писателя Михаила Афанасьевича Булгакова... Вы ведь знаете – автор романов «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита»?

Флауэрс кивнул:

– Да-да, Майкл Булгаков... Я читал – конечно, по-английски. Очень хороший писатель.

– Через месяц после эвакуации поручика Зайончковского из Крыма его брата Павла там же расстреляли – в числе нескольких тысяч русских офицеров... Опять-таки по семейной легенде – вместе с теткой писателя Булгакова, безобиднейшей медсестрой, с лета 1914 года работавшей в Ялте в госпитале Красного Креста.

У братьев Зайончковских была сестра, намного их младше. Через десять лет эта сестра, Татьяна Андреевна, вышла замуж за Ивана Осинкина. Пять лет спустя, в 1935 году, у них родился сын, мой отец, Павел Иванович. Мать Татьяны Андреевны, погибшего Павла и поручика Петра Андреевича – Евгения Леонидовна – умерла в 1962 году, на тридцать лет пережив своего мужа, за два года до рождения правнука. То есть – моего рождения. Когда оба мы с моей женой Машей были в аспирантуре, у нас родилась дочка Женя. Маша моя еще в детстве, знаете, твердо решила назвать своего ребенка – мальчика или девочку – именно так: ей очень нравилось это имя. Мне, не скрою, оно импонировало еще и как наследственное. Вот короткая история нашего рода. Но о своем, так сказать, предке я больше ничего никогда не слы-

шал. Он ни с кем из нас никогда не переписывался.

– Ну что ж, – медленно сказал Флауэрс. – То, что вы мне сейчас рассказали, – это и хорошо, и плохо. Зайончковский умер около пятнадцати лет назад. Он был богатым человеком. Так получилось, что я присутствовал при составлении им завещания. Это было очень необычное завещание – необычное для нашей страны. Не берусь судить – возможно, для вашей страны, России, оно очень обычное. Господин Зайончковский, не имевший своих детей и, соответственно, внуков или правнуков – а ему было тогда уже больше восьмидесяти, – завещал все свое состояние девочке из своего рода, оставшегося в России, – если окажется, что эта девочка носит имя его матери – Евгения...

Александр Осинкин вздрогнул и выпрямился на стуле.

– Если же таковой девочки не обнаружится в течение пятнадцати лет после его смерти – таково условие, – то это условие теряет силу и наследство переходит к косвенным наследникам. До этого оно находится в банке, и проценты с него переводятся в один из российских детских домов. Это, надо сказать, довольно большие проценты. Не знаю, добросовестно ли их используют в вашей стране, – извиняющимся тоном сказал Флауэрс и продолжал: – У мистера Зайончковского были троюродные племянники его второй жены. Он не был счастлив, я должен сказать, в обоих своих браках. Да к тому же брак без детей – это было не для мистера Зайончковского...

Американец с трудом, но, пожалуй, со вкусом выговаривал эту фамилию.

– Он страдал от отсутствия у него детей, внуков... Одно время очень хотел усыновить ребенка из России. Но при советской власти этого сделать было невозможно. А когда она кончилась – он был уже слишком стар. Хотя успел испытать радость, что проклятие, как он говорил, лежавшее на России столько лет, наконец снято.

Помолчав, Джон Флауэрс сказал:

– Он очень любил Россию. Очень много думал о ней. И перед смертью спрашивал священника, своего духовника: «Скажите, как вы думаете, – там, на небесах, смогу я узнать о судьбе своего народа?»

Оба помолчали.

Флауэрс добавил:

– Несколько лет спустя священник, отец Димитрий – я был с ним дружен, – при мне рассказывал об этом небольшим русским. Они уехали из России уже после конца советской власти – из-за ваших экономических трудностей. И он говорил с ними, должен сказать, довольно сурово... наши пасторы так с нами обычно не говорят. Они, наверно, снисходительней к нашим слабостям.

Флауэрс улыбнулся.

– Отец Димитрий ставил им Зайончковского в пример – «Вот как надо любить свой народ!».

– Ну и как? – не удержался Осинкин. – Они поняли его?

Флауэрс засмеялся.

– Нет, по-моему, совсем не поняли. По крайней мере, по лицам их не было видно никакого понимания. «Мало ли старых чудаков на свете!» – вот все, пожалуй, что можно было прочесть на этих лицах. Их интересовало другое – сосредоточиться ли им в новой стране на поисках заработка или, напротив, довольствоваться нашим пособием неимущим – велфэром. Оно довольно неплохое.

Он опять засмеялся.

– С голоду в Америке, как вам, конечно, известно, еще никто не умер. Впрочем, кажется, как и в России в ваше недавнее тяжелое время. Было сильное недоедание. Но все-таки не было, насколько мне известно, в точном смысле голодных смертей. Я имею в виду 90-е годы – после распада Советского Союза. А я помню, как тогда многие и у вас, и здесь, у нас в Америке, любили пугать неминуемым голодом в России. Действительно – у государства не осталось тогда ни денег, ни запасов зерна! Егор Гайдар – он, кажется, внук вашего хорошего детского писателя? Мне рассказывал про него один славист, мы вместе кончали Гарвард... Так вот, ваш Егор Гайдар сумел сделать чудо – за месяц с небольшим наполнил магазины продуктами, причем не только в Москве, а по всей стране! А ведь в советское время – вы это помните, а я хорошо знаю, поскольку одно время занимался этой темой специально, – в Москву ездили и за колбасой, и за мясом, и за обувью... Да, ваши *прилавки*...

– Вы очень хорошо говорите по-русски! – не удержался Осинкин.

– Спасибо!... Пустые прилавки тогда наполнились. Но жизнь, конечно, оставалась очень трудной, очень дорогой. К тому же люди лишились своих накоплений. До этого цены были низкими, а товаров не было совсем. И у людей были деньги, потому что их не на что было тратить.... Я помню, как цены стали *свободными* – и, конечно, сразу взлетели вверх... Это закон рынка. Люди, имеющие нужный другим людям товар, хотят продать его подороже. Но, конечно, только до тех пор, пока не появляются те, кто предложит его дешевле... Ваши люди ничего этого не знали и очень сердились на Гайдара, что вынуждены были очень быстро потратить все свои деньги. И остаться вовсе без денег... Но вы, конечно, все это знаете не хуже, а лучше меня. Я только хотел сказать, что понимаю тех, кто приехал сюда в поисках хорошего прожиточного минимума.

Однако – не скрою – мои симпатии на стороне вашего соотечественника и, как я только что узнал, даже родственника Зайончковского. Его патриотический... как бы сказать... пафос мне ближе. Но мы сильно отклонились от темы. А вы, кажется, не очень ею заинтересовались?..

Александр Осинкин с удивлением и некоторым стыдом понял, что он и впрямь не принял всерьез сообщения Флауэрс. Американское наследство – это было из какой-то виртуальной реальности. В детстве, он помнил, кто-то расска-

зывал про *наследство американского дядюшки*... И все хотали.

– Нет-нет, продолжайте, пожалуйста.

– Хочу предупредить, что продолжение моего сообщения не принесет вам приятных эмоций. Боюсь, что оно потребует от вас каких-то – и срочных – действий. Это связано с безопасностью вашей дочери.

И Осинкин явственно почувствовал, что внутри него что-то оборвалось и на месте обрыва образовался неприятный и резкий холод.

# Глава 6

## Уроки конституции

– У нас в Оглухине, – строго говорил Федя Репин, сидя во дворе у тетки за хорошо струганным и свежо пахнущим кедром столом, – один человек с высшим, между прочим, образованием говорил другому про нашу Конституцию, а я случайно слышал: «...Конечно, я ее не читал! Чего я буду читать, если она не исполняется!» Он уже не маленький, а все еще не понял, что первый шаг к исполнению Конституции – это *чтение* ее согражданами.

Мячик внимал.

Во дворе стояла звенящая тишина. Будто горы, разлегшиеся вокруг, хранили ее и стерегли.

Впрочем, слово «звенящая» будет не совсем правильным. Потому что у нас в России в летней тишине нередко и правда слышится тихий звон – или, лучше сказать, противное зуденье – комары! В одних местах России этих летающих кровососов много, а в других – очень много. А мало почти не бывает. Они способны отравить самое прекрасное настроение в самый солнечный летний день.



Но есть в России одно место – и достаточно обширное, – где комаров *нет вообще*. Вы, конечно, спросите: «Что – очень мало?» И получите добросовестный, совершенно правдивый ответ: «Ни одного». Это место – Республика Алтай, все до одного ее десять районов, а также единственный город – столица Горно-Алтайск.

Не пролетит там ни один комарик ни днем, ни вечером, ни ночью – в самое кровососное время. Ни на самом юго-востоке – в Кош-Агачском районе, где мягкими велюровыми складками горы пастельных сизо-розовых тонов кольцом окружают долину, в Ташанте – на самой границе с Монголией. Ни на юго-западе Горного Алтая – в Усть-Коксе и Тюнгу-ре, на берегах Катунь, чьи светло-изумрудные воды так хо-



роши, что не налюбуйешься ими никогда.

Но достаточно вам оказаться у соседей, в Алтайском крае, как комары вам покажут все, на что они способны. Старожилы уверяли, что когда-то, когда ухаживанье происходило главным образом вечерами на воздухе, это тормозило свадьбы – молодые люди, гуляя летом вдоль реки, гоняли и били комаров, вместо того чтобы сосредоточиться друг на друге.

Этим отступлением мы только хотели пояснить, что Мячику ничто не мешало внимать своему другу – будущему, как известно усердным читателям нашего повествования, президенту России. Именно такова была жизненная цель Фе-ди Репина.

– Наша Конституция – очень хорошая, – продолжал Федя. – Вторую главу каждый гражданин России вообще должен знать наизусть. Например, самая первая в этой главе статья 17, особенно ее части вторая и третья: «Основные права и свободы неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения» и «Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц». Мяч, ты понимаешь слово «неотчуждаемы»?

Мячик встрепенулся.

– Ну... Эта... Не чужие, значит... Не чуждаются никого... Федя изобразил на лице страдание.

– Мя-ач! Если не знаешь – почему не спрашиваешь?! «Неотчуждаемы» – значит, с рождения и навсегда твои! Их отнимать никто, понимаешь, никто, никакие начальники не

имеют права!

– Начальники, наверно, могут... – вздохнул Мячик. Он все-таки уже прожил сколько-то сознательных лет на своей родине.

– Именно что нет! Их можно призвать к ответу, понятно? Но мы с тобой – пока не о них. Потому что они пока не нами, а взрослыми заняты. А если взрослые стремятся... ну, трусят подавать на них в суд за нарушение Конституции – пусть на себя и пеняют.

Я сейчас про нас с тобой. Твое и мое главное дело как граждан России – заниматься самовоспитанием. Потому что стать свободным гражданином – совсем не такое простое дело. Этому надо учиться, понял? Необходимо еще, чтобы наше свободное – понимаешь? – свободное поведение свободного гражданина в свободной стране не нарушало прав других людей! Тоже, между прочим, свободных – вот это надо понимать. Ну, к примеру, если мы ночью с тобой во дворе устроим бой викингов и разбудим мою тетку – мы уже не можем ей сказать: «Мы – свободные люди! Имеем право веселиться как хотим!» Потому что у нее как раз есть право ночью спать. И мы с тобой это право нарушаем...

От старания усвоить Федины слова Мячик вспотел.

– Ладно, – сжалился Федя. – Еще только две статьи... Да, кстати, у тебя какое гражданство?

И этот коварный контрольный вопрос Мячика тоже застал врасплох. Он в своей недлинной жизни не имел еще случая

задуматься – гражданин ли он и какой именно страны.

– Н-не знаю... У меня еще паспорта нет...

– Как это не знаешь? – делано изумился Федя. – И паспорт тут ни при чем. У тебя, чтоб ты знал, российское гражданство – с рождения. Как родился на свет – уже гражданин России. Это, правда, не по Конституции, а по Федеральному закону о гражданстве. Достаточно того, чтобы один из твоих родителей имел российское гражданство. Независимо, заметь, от места твоего рождения! Хотя в Зимбабве родись, хоть в Новой Зеландии.

Мячик слушал, от напряжения выпучив глаза. Белесая челка прилипла ко лбу.

– А в Конституции, – продолжал Федька безжалостно, – другое очень важное...

Он заглянул в беленькую брошюру, лежащую перед ним, на которой темно-голубыми буквами было написано: «Конституция Российской Федерации». Она выглядела довольно-таки замызганной: видно было, что ее нередко брали в руки. Скажем по секрету – Федя Репин всегда возил ее с собой.

– «Статья 6, часть третья. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его». Только не все это понимают, – вздохнул Федька. – Потому что взрослые привыкли к другому. У нас в России советская власть чуть что – лишала гражданства... Такое у нее наказание было для непослушных.

У Мячика голова шла кругом. И оба они не заметили, что Федю уже минуты две внимательно слушает еще один человек. Если же точнее – один человек и одно животное.

В этом самом месте беседы вежливо твякнула Тося – а это была именно она – и заговорила Женя. Только тут и Федя и Мячик их обеих увидели. А Тося при первых звуках Жениного голоса улеглась на траву, будто приготовившись слушать умные хозяйкины речи.

– Да, точно... И таких людей – самых лучших! Мне папа рассказывал – виолончелиста Ростроповича... Вместе с его женой – певицей Большого театра. Ну вы знаете, ее все знают – ее даже великой многие считают, – Галиной Вишневской. Только из-за того, что они на дачу свою позвали жить писателя Солженицына! Когда его советская власть преследовала. И самого Солженицына тоже лишили. Его сначала насильно в наручниках вывезли на самолете за границу, а потом гражданства лишили... Как бы отлучили от родины – мне папа объяснял. А в Конституции нашей теперешней мне очень это нравится – что человека никто не может родины лишить. Никто, никакая власть не имеет такого права.

– Да все равно сегодня многие этого не понимают. Ну те, кто советское время больно помнит. Наш сосед Кузьмич, как разозлится на кого, в пьяном виде особенно, сразу орет: «Выдворить и лишить гражданства!»

Тут Федя и Мячик, не выдержав, бросили на время Конституцию и отвлеклись на Тосю. Да и кто бы мог остаться

равнодушным при виде этой огромной псицы, когда она растянулась во всю длину в тенике под яблоней, зевая от наслаждения во всю свою невероятную пасть!

А Женя думала над тем, о чем сама только что говорила. Что нельзя, чтобы кто-то мог лишиться человека родины. А заодно о том, что же все-таки это такое – родина...

В ее семье на эту тему не говорили. Ее родители вообще не любили, как они выражались, «громких слов» – типа «Россия поднимается с колен!». Папа сказал однажды, и она это запомнила, что рассуждать о патриотизме, о любви к родине это все равно что провозглашать – как он выразился, «с мелодраматическими завываниями», – «А я, знаете ли, так люблю, так люблю свою мать!...»

Но Женя точно знала, что Александра Осинкина в последние годы несколько раз приглашали на долгий срок в американские и всякие другие университеты. А он отвечал:

– Больше чем на два месяца я сейчас из России не уезжаю. Сколь угодно интенсивные курсы лекций в течение двух месяцев – пожалуйста.

И в позапрошлом году он так и ездил в Канаду – на два месяца.

Жене было известно, что сейчас в России многие хорошие специалисты очень любят уезжать за границу как раз надолго – заработать побольше денег. Хотя бы для того, чтобы помогать старым и больным родителям, лечить их. Она уже имела представление о том, что хорошее лечение в России

стоит очень дорого. А за границей, если человек долго работал, то за операции, за лечение в больнице вообще ничего не платит: страховка окупает лечение.

Но она слышала, как ее папа говорил однажды маме:

– Сейчас в России надо или жить, или не жить. Нельзя, когда твоя страна в такой ситуации, приезжать домой на каникулы и делать перед самым собой вид, что ты в ней живешь.

И прибавил:

– Тут и живя-то не поймешь иногда ни черта, что происходит. А уж издаля!..

Женя однажды пристала к нему – почему бы все-таки ему не поехать на годик хотя бы преподавать в Америку? Втайне она была бы не прочь прокатиться с папой в эту таинственную страну. Поучиться немножко в американской школе, где, как рассказывают, школьники что хотят, то и делают – на голове всю дорогу ходят.

А папа ответил коротко и серьезно:

– Я в России нужен.

И еще Женя вспомнила одну телекартинку. Ей тогда было то ли семь, то ли восемь лет. Смотрели передачу. На телеэкране за ресторанным столиком с белой скатертью, с бокалами празднично искрящегося шампанского один симпатичный корреспондент с прибалтийским акцентом задает Владимиру Спивакову вопрос под конец длинного телеинтервью: «А могли бы вы ради чего-либо бросить свое дело, оставить свою профессию музыканта?»

Женя, хоть и была еще мала, но подумала: «Глупый какой вопрос!»

А Спиваков задумчиво так, медленно отвечает, что если бы он знал, что такой ценой можно было бы дать нормальную жизнь, возможность развития всем детям России, то – да. Ради этого можно пожертвовать своей музыкой. И добавляет еще медленнее – «И жизнью».

Женя хорошо помнила, что на этих словах у нее сами собой полились слезы, и она скорее убежала в свою комнату, чтобы мама и бабушка не увидели и не забеспокоились.

– Ну, поехали дальше, – заторопился Федя, энергично потрепав напоследок Тосю за мягкие уши.

А Женя вежливо спросила:

– Можно я послушаю?

Федя милостиво кивнул головой.

– Вот статья 20, часть первая – «Каждый имеет право на жизнь». Ну, я на этом даже останавливаться пока не буду. Я уже давно понял, что у нас эту статью вообще никто почти не понимает.

– Как это? – поразились Женя. – Вроде понятно...

– Тебе, может, и понятно. А другим непонятно. Они считают – зачем ребенку-инвалиду жить на свете?.. У нас полстраны, по-моему, думают, что человек должен доказывать свое право на жизнь... В нашем селе – кого ни спрашивал... Ну, я сказал – про это я сейчас не буду, сложно очень объяснять. Зато следующую статью должен каждый знать, хотя

в нашей стране она и не соблюдается вовсе. Но если знать – то можно требовать, чтоб соблюдали. А если никто ее знать не знает, она и соблюдаться никогда не будет.

В общем, слушайте: «Статья 21, часть первая. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления». И еще, Мяч, – часть вторая: «Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию...» Понятно?

Мячик молчал подавленно. Все было непонятно, а признаться стыдно. Потом выдавил неуверенно:

– Как это – «охраняется государством»? Чего охраняется-то? Меня, что ли, милиция охраняет?..

А Женя сказала:

– Про эту статью, когда я читала Конституцию в прошлом еще году, то думала так: это значит, что милиционер или какой-нибудь другой представитель власти не может нас унижать – ну и, конечно, подвергать пыткам.

– Правильно, – сказал Федя. – Тут и про это как раз.

– Ну а когда мне мама Олега рассказала, как его в милиции пытали – чтоб сознался в том, чего не делал... Я, конечно, вспоминала эту часть вторую статьи – запрет на пытки. Эти милиционеры еще ответят за все, увидите. Но вот эта часть первая, Федя, – она не о том оказалась, про что я, например, думала. Мне мой папа объяснил вот эти слова – «охраняется государством»... Я их неточно все-таки пони-



мала.

– Ну а как твой папа объяснил? – совсем даже не ревниво, а с живым интересом спросил Федя. Он все-таки очень правильно как-то был устроен, без комплексов. Хотя в России, похоже, даже животные в зоопарке, и те комплексуют.

– «Охраняется государством», – с некоторой торжественностью произнесла Женя, – это значит, что любой представитель государства – буквально любой чиновник, совсем не только милиционер, а просто каждый государственный служащий – в мэрии там, или в управе, вот здесь хотя бы, в Чемале, – обязан остановить любого, кто будет при нем унижать мое достоинство. Пресечь, так сказать, эти неконституционные действия.

– А как унижать-то? – спросил слегка встрепенувшийся Мячик.

– Оскорблять, обзывать... Даже грубо, на повышенных тонах говорить. Тем более кричать. Если с тобой, например, кто-то в нашей стране грубо говорит – вообще любым способом задевает, ущемляет твое достоинство, а при этом присутствует какой-то чиновник, то ты имеешь конституционное право обратиться к этому чиновнику, чтобы он *взял твое достоинство под защиту*. Понятно? Поскольку ты – гражданин России. А он представляет то самое российское государство, которое должно, по нашей конституции, охранять твое достоинство... Это папа мне все очень четко объяснял.

Все трое замолчали. И затем, не сговариваясь, одновре-

менно, совершенно неизвестно по какой причине, очень глубоко вздохнули.

## Глава 7

### «Тойота-Лексус»

На этот раз очередной доклад на своем мексиканском семинаре Александр Осинкин слушал вполуха. Не мог дождаться следующего перерыва.

Солнце за два часа, казалось, не опустилось ни на полсантиметра. Но Осинкин уже не чувствовал ни жары, ни холода. Пот если и тек по его лбу и щекам, то совсем по другой причине.

– Зайончковский умер в весьма почтенном возрасте, какая вам уже говорил, около пятнадцати лет назад, – продолжил Флауэрс с того же места, на каком кончил. – Срок поисков настоящей наследницы, согласно завещанию, заканчивается через два-три месяца. Это можно уточнить у адвоката. Косвенные наследники Зайончковского – малоприятные субъекты. Но дело не в них.

Флауэрс помолчал.

– В ситуацию примерно год назад вмешались новые люди. Вторая жена Зайончковского была русской, и у нее, помимо американских племянников, оставались очень дальние родственники в России. Она не поддерживала с ними связи. Тем не менее они каким-то образом узнали о наследстве. Наладили контакт со своими троюродными американскими то ли

братьями, то ли дядями, то ли племянниками – я не очень вникал в разветвления их генеалогического древа. И недавно нашли след родственной Зайончковскому Евгении. Как вы уже догадались – это ваша дочь.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.